

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Яков Семенович Друскин (1902—1980) — один из интереснейших философов-экзистенциалистов нашего времени. Ученик Н. О. Лосского, получивший университетский диплом философа через год после изгнания учителя из страны — в 1923 году (позднее еще два диплома: университетский — математика, консерваторский — пианиста), несмотря на молодые годы, совершает мудрый поступок, сохранивший ему жизнь и возможность свободного творчества. Яков Семенович полностью порывает с философской средой (хотя ему было предложено остаться на кафедре философии) и избирает неприметную должность учителя литературы, позднее математики, как внеидеологической дисциплины, в вечерних и заочных школах Ленинграда.

Чувствуя себя инородным телом (по собственному выражению) в системе, переламинающей человеческие судьбы, он резко разграничивает дело, которому будет посвящена вся жизнь, и службу для заработка.

Анонимность защищала от внешней агрессии и была ширмой, за которой протекала интенсивная творческая жизнь.

И тем не менее он не был одинок. В 1918 году сближается с соучеником, будущим философом Леонидом Липавским, а в 1922 году — с поэтом Александром Введенским, двумя годами позже закончившим ту же школу. В 1925 году к ним присоединяются поэты Даниил Хармс и Николай Олейников.

Это была не просто дружба, но эзотерическое содружество людей с общими взглядами на жизнь и искусство, осуществлявших в своем творчестве единение философской поэзии и поэтической философии, — «чинарей», как они себя называли.

Яков Семенович Друскин оставил обширный архив, содержащий философско-религиозные и философско-поэтические трактаты и исследования, многочисленные эссе, посвященные различным аспектам религиозной мысли, литературоведческие и музыковедческие работы, а также дневники за полвека, раскрывающие мир идей мыслителя с поэтическим строем души.

Эссе Я. Друскина публикуются в художественных и философских журналах, в том числе зарубежных, с 1989 года. В 1995 году вышли из печати два фундаментальных исследования, излагающие основные принципы философско-религиозного учения автора, — под общим на-

званием «Видение невидения». И, наконец, работы, вошедшие в двухтомник произведений чинарей, раскрывающие многогранный талант автора.

Выход в свет первой части Дневников (1933—1962) — событие, думаю, не ординарное. В своих дневниковых записях Яков Семенович размышляет о духовных ценностях, определяющих его жизнь, о противоречиях между Провидением и абсолютной свободой человека, между философией и наукой, верой и разумом, мгновением и вечным, высказывается о конкретных произведениях литературы, музыки, живописи. Размышления сменяются небольшими эссе — тематика разнообразна, кругозор необыкновенно широк. В целом же Дневник подтверждает изречение автора: «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил».

В заключение считаю своим приятным долгом выразить глубокую признательность Швейцарскому фонду PRO HELVETIA и лично госпоже Анн-Шанталь Петтцер, Жану-Филиппу Жаккару и Валерию Николаевичу Сажину за активное содействие в осуществлении этого издания. Благодарю также Людмилу Григорьевну Ковнацкую за помощь и ценные советы в процессе работы над книгой.

КАКИМ ЕГО ЗНАЮ

Моей сестре

I

Надолго мы не расставались: за всю жизнь в длительной разлуке находились дважды — в 1930—1932 (я в Германии) и около трех лет в годы войны; в счет не идут летние месяцы, мои отъезды на непродолжительный срок в другие города и страны и т. д. С детства до зимы 1924—1925 года (я женился) жили в одной комнате (ему тогда было двадцать два с половиной года, мне двадцать). Затем непрекращающиеся частые встречи, в повоенные годы обычно еженедельные (иногда реже), ежедневные телефонные разговоры (либо с сестрой о нем или с ним — обо мне), при моих отъездах — переписка. Интерес друг к другу, то более интенсивный, то менее, сохранялся, что объясняется не только братской приязнью, но и духовным сродством. Но была и преграда этому: каждый избрал свой модус жизни. И строй мысли, не говоря о характерах, был иной. При всей близости мы очень разные.

По классификации Юнга, брат может быть отнесен к интровертивному типу, я скорее к экстравертивному. Как личность он целен, я поливалентен. Еще не достигнув девятилетнего возраста (в 1911 году), он осознал *личностное* в себе; во мне много обличей, ибо создан из разнородного материала. Он прожил целеустремленно единую жизнь, я — будто несколько жизней и в каждой (так мне кажется) личностный облик другой. Он жил мыслью, я болес делами. Он, как Авраам, «верою повиновался призванию», в моей биографии много случайного. Библейское сравнение уместно: он одержим истовостью в поисках истинного, что мне — не дано.

Прочел у Фолкнера: в судьбе человека заключено нечто, заставляющее ее прилаживаться к нему так, как одежда, рассчитанная на многих, приобретает форму того, кто ее носит.

Он одолел судьбу, овладел ею; я, обороняясь, плыл по течению.

Есть и общие черты (не дифференцирую различия): интенсивность духа, любознательность (именно любовь к знаниям), потребность в письменном изложении мыслей при литературной одаренности, систематичность и упорядоченность в работе, художественные склонности,

где на первом месте — музыка. Но общие черты, если таковые я верно отметил, разноразнонаправленны. Поясню примером: он жил герметично и писал потому, что не мог не писать, писал для себя — в просторе мысли; я же писал для печати, учитывая оковы, накладываемые обществом, в котором функционируешь (жил открыто). Это кардинальное различие наших жизненных позиций.

Он нередко спрашивал: чувствуешь ли ты себя в жизни как дома? Сам он так не чувствовал. Любил пользоваться терминами «боль бытия», «тоска по Абсолюту» (последний — Л. Липавского). Он, вероятно, ощущал себя против воли заброшенным в этот мир. (Я позволил себе употребить терминологию Хайдеггера, которую он не любил.)

Его герметичность как бы включала в себя несколько обручей. Центральный — энтелехия (цель осуществления; то, что заложено в душе); доступ туда закрыт всем, кроме одного-двух самых близких людей (на первом месте мать). Второй обруч — члены семьи и очень узкий круг друзей. Все остальное — внешний мир. Полагаю, что я находился на обочине второго круга как перемилька с внешним миром (или, если угодно, окошко в этот мир). Во всяком случае, так было в последние десятилетия.

Ему доставляло удовольствие общение со мной, и думаю, не только из родственных чувств, возможно, ощущал во мне прочность, надежность, которых так не хватало ему в решении повседневных дел: в беззащитности перед внешним миром ему требовалась опора. Не лишено вероятия, что ему нравилась моя манера речи, способность суждения. Темы бесед — неограниченные.

Он жил в разладе с миром. Прежде всего — это мир вещей, которые, попав в его руки, приобретали свойство ломаться, теряться и т. п. Он носил сорочки большего размера или более широкие брюки, дабы они поменьше прикасались к телу. Вещный мир враждебен ему. Ему чужда и природа: «Все это покрывало Майи». Если бы не вынужденная в годы войны эвакуация, он не выезжал бы из родного города; после детства посещал окрестности только потому, что там жили родные. *Noli me tangere* (не прикасайся ко мне) относилось ко всему внешнему миру, к которому относится то, что вне души. Он жил в разладе и с собственным телом; вслед за Франциском Ассизским называл его «мой брат осел». (Когда заболел, говорил — «от глупости», то есть не совладал со своим «ослом».) Не тело, а комната, в которой жил, размышлял, писал, — обиталище его души. Но и тут разлад — осуждение своей греховности.

В попытке оградить себя и близких от угроз внешнего мира разработал собственную систему примет как соблюдение норм и законов

поведения, себе поставленных. Среди ритуальных знаков есть нормативные: например, если что-либо забыл взять с собой, не возвращаться домой, сакральные числа и т. п. Из индивидуальных, ему присущих, — касания (Христос исцелял прикосновением). Еще в молодости — перед сном — он начал двуперстно касаться дверного крюка, причем известное число раз (в зависимости от конкретного случая число касаний менялось). При длительном или дальнем отъезде близких — то же двуперстное касание предплечья отъезжающего. При прощании — магическое слово «осторожно» (в письмах — его аббревиатура). Он не любил предзакатные часы, говорил, что душа томится, стремился уйти до наступления сумерек, если был не дома. (Не потому ли, что Христос на Голгофе испустил дух перед закатом?) Невыполнение ритуальных знаков могло, в его представлении, грозить бедой.

В применении к нему привычное выражение «он жил вне времени и пространства» требует уточнения. Пространство, как сказано, — его комната, от всего внешнего замкнутая; остальное — видимость, кажущееся, к чему он безразличен; пространство же души не имеет границ. А время разомкнуто — это время его мысли; тут нет отсчета. Характерно, что подавляющее большинство написанных им вещей не датировано: время будто остановилось когда продуманное он начал записывать. Осталось *сейчас*, и это *сейчас* длилось десятилетиями.

Когда начал писать, не знаю. Надо полагать, с ранних лет, но точно: с середины двадцатых годов. Писал непрестанно. Написанное, вне зависимости от объема, часто заново переписывал (изменяя, дополняя), иногда по пять и более раз. Писал ночами, за исключением последних лет.

Для него писание не потребность — необходимость.

Известно, что некоторые врачи, изготавливая новые вакцины или другие лекарственные средства, прежде всего опробовали их на себе. (Так, если не ошибаюсь, поступил Пастер; А. Богданов умер, на пробу сделав себе переливание крови.)

Брата интересовала работа мысли — в бесчисленных вариантах он проверял ее на себе, являлся для себя объектом исследования. Возникло суждение, рассматривались его возможности. Высказывалось антиномичное суждение. Из их сопоставления рождался *ход* мысли. Он наблюдал ее течение. Мыслил и думал о мысли. Не писал — *само* писалось, будто кто-то водил его рукой.

Он обладал исключительной мыслительной способностью, которая открывала ему доступ к любым сферам знаний, будь то математическая

логика, физика, психология или лингвистика, не говоря об основных для него сферах — философии и теологии.

Поражает литературная форма личного высказывания: его слог безупречен.

Мне кажется, в его литературной манере можно обнаружить две антиномичные тенденции: одной свойственна поэтичность, другой — формульность. В иносказании характеризуется суть предмета, а в формуле — его структура. В первом роде его вещи сближаются с художественной прозой, во втором — с математической логикой.

Он начисто лишен догматизма. Манера письма свободная, ненавязчивая, и чтение его работ (и беседа с ним) требует соучастия, совместного рассуждения, потому что вывод не декларируется — ход мысли подводит к нему без заранее заданного решения. Важнее даже не столько сам вывод, сколько оттенки мыслей, процесс мышления.

Он говорил: в формулу Декарта *cogito, ergo sum* (мыслю, значит существую) надо внести поправку — не *cogito*, а *dubito* (сомневаюсь...). Подлинная вера, говорил он, — с сомнением: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Однако сомнение никак не исключает убежденности. Он нерушимо убежден в Главном. (Сомнение и убежденность — еще одна антиномия.)

Воспользовавшись известным изречением, скажу: в том, что делал, как жил, он либо горяч, либо холоден — теплым он не мог быть.

Преклонения перед общепризнанными авторитетами не приемлет — важно не *кто* сказал, а *что* сказано. Эрудицией не прикроешь отсутствие мысли. Он ценит независимость суждений, их неконформизм. Но: суждение высказывается не для утверждения себя, а в поисках истины. Он отвергает самодовольство в любых формах — и в поступках и в мысли. Самодовольство и глупость — две стороны одной медали.

Главное (и самое трудное, недоступное, но к чему надо стремиться) — отказ от самого себя.

Он сказал мне однажды (до смерти матери): хотел бы работать медицинским братом или санитаром в больнице. Это — не по-швейцеровски, не из миссионерских побуждений, не ради осуществления долга. Служение другим — одна из возможных форм отказа от себя.

Служение — его жизненная миссия.

Служил после смерти отца — матери, сестре, друзьям (их памяти), самому близкому себе человеку.

Он слуга своей мысли.

Его мучила дилемма: тот, кто (как утверждает) любит все человечество, реально, в действительности, никого не любит (кроме себя); тот, кто хочет следовать завету «люби ближнего своего, как самого себя», не может любить всех «ближних», кого встретил (или не встретил) на своем пути. Выход из дилеммы — не любить себя. И все же это не есть позитивное решение евангельского завета. (Вкратце записываю по памяти одну из бесед.)

Поступок, свершенный из чувства долга — без любви, — не заслуживает поощрения. Оппозиции «долг — совесть» он противопоставлял «грех — святость», автономной морали — теонимную. Надо поступать так или иначе не потому, что так принято, а потому, что так *надо*, исходя из оппозиции «грех — святость».

Он ограничил круг потребностей, желаний, и чем становился старше, тем больше (аскетом все же не был). Ограничил — в той же последовательности — круг людей, с которыми встречался (либо которых допускал к себе). Ограничивалось и число ближних, кого любил, — в это число включались и ушедшие. Постоянство — одна из важнейших черт его характера.

С молодых лет, когда окончательно определился инвариант его личности, избрал жизненный модус. Он — вне социальной системы, и служба резко отграничена от дела, которому себя посвятил. На вопрос: ты работаешь? следовал ответ: нет, пишу. Работа — это служба («потный» труд).

Он построил свою жизнь так, чтобы иметь возможность сосредоточиться на мысли. (Его слова: «Жизнь продумал, а мысли пережил».)

Где-то я вычитал (не знаю, как бы он отнесся к тому, что сейчас пишу), что апофатической (мистической) теологии противопоставляется катафатическая (рационалистическая). Мне кажется, он, как враг рационализма, был склонен к мистицизму. Его жизнь — цепь мистических откровений.

Мистическое — единичное, личное, чуждое соборности.

Не этим ли вызвана самоизоляция (то есть не только ради сосредоточения на мысли)?

Не потому ли был скрытным, не допускал близких к тому, что являлось для него сокровенным, потайным?

Он не вмешивался в чужую жизнь, не поучал. Старался других не осуждать (порой срывался — был вспыльчив, но с годами такие вспышки утихли). Не любил, в частности, когда в его присутствии называли кого-либо дураком; резких выражений не употреблял. Но, естественно,

не мог не обличить нечестный поступок, неряшливость в отношениях. Потом, остыв, осуждал *себя* за то, что осудил других.

Несмотря на присущую ему замкнутость, к тем, кто вне его круга, когда встречался с ними, относился обычно благожелательно (если они не досаждали ему, не утомляли). Я бы сказал (обидного значения этому определению не придаю): равнодушно-благожелательно. К судьбам посторонних людей интереса не проявлял. Чужие беды не волновали его. Ему важна суть человеческого, а не отдельно взятые случаи из жизни людей.

Был ли он добрым? Доброжелательным, несомненно. И, конечно, не злым, не злопамятным. Не злословил. Не показывал превосходства над собеседником (если тот не нравился, отмалчивался). Высокомерие ему начисто чуждо, тем более — тщеславие.

Однако что такое доброта — не знаю. Бескорыстная помощь другим? Помощь в ущерб себе, в ущемление своих интересов? Но, во-первых, нельзя всем помогать, а во-вторых, нет ли в такой помощи оттенка самолюбования? (Это — из бесед с ним.)

Сосредоточенный человек, избравший свою мыслительную деятельность объектом анализа, не способен быть, на мой взгляд, добрым в общепринятом смысле этого неопределенного понятия. Он может излучать благодать, но не активно творить добро. (Речь идет об отношении к посторонним, а не к близким.)

Он замкнут, но в общении не суров. Любил не только серьезные разговоры, но и шуточные. Юмор мягкий, не саркастический, шутка беззлобна. Подшучивал и над собой. Шутка могла быть печальной (в данном случае оказалась пророческой).

Когда подъехали к больнице, которую ему не суждено было покинуть, и вошли в помещение, именуемое «Приемный покой», он сказал: в переводе на латинский — *requiem aeternam*.

Его внешнему облику присуща естественная элегантность. Это ощущалось в полупоклоне, когда встречал или провожал гостей, в непринужденной позе за столом или в кресле, которое бережно сохранялось десятилетиями (в нем сидела мать). В том, как держался, — вне зависимости от того, как одет и какого социального ранга посетитель, — было нечто старомодно-барское (или аристократическое).

С детских лет он худощав. С годами все более худел, под старость — аскетически худ.

Глаза большие, светлые, ясные. Длинные пальцы, узкая кисть. Жест скуп.

Он фотогеничен.

Есть два рода фотографий: на одних он восторженный, на других покорный.

В изображениях — антиномия его души.

Он предстает в двух ипостасях: то как пророк, то как агнец.

II

У меня плохая память.

Прошлое предстает в смутных очертаниях, как обрывки воспоминаний — преимущественно зрительные, подобно кадрам в кино, описать которые трудно.

Я вижу его в разные годы в различных ситуациях, но целостной картины не удастся воссоздать, ибо ускользает главное — его духовная эволюция, умственная деятельность.

Если мышление — «диалог души с самой собой» (Платон), то содержание, смысл его биографии в этом диалоге.

Диалог отмечен вехами. Он сам определил их:

1911 — ему девять лет; прикосновение к тайне бытия (или она коснулась его) — он осознал себя как личность;

1934 — смерть отца;

1963 — смерть матери.

Добавлю дополнительные вехи:

1941 — война (гибель друзей, слом в жизненном укладе);

1968 — перелом в личной жизни, начало позднего периода.

Наши отношения приобретали различные оттенки в разных периодах и ситуациях, внешних и внутренних. (Возможно, менялись не только оттенки, но и суть отношений.)

В детстве мы неразлучны.

Пора высшей близости — начало двадцатых годов.

С второй половины двадцатых — постепенное отчуждение.

По возвращении моем из Германии в 1932 году еще резче обозначилось расхождение. Разумею под расхождением взаимное непонимание образа жизни и образа мыслей, что, однако, никак не отразилось на братской дружбе, а также на общении — через музыку (особенно в конце тридцатых годов).

Военные годы территориально нас временно разъединили, усилив семейные заботы и тревоги. Послевоенное десятилетие — снова духовное разобщение.

С середины пятидесятых годов — сближение. Как и прежде, главный посредник — музыка. Были и другие художественные впечатления, совместно пережитые, и другие темы бесед.

Вторая высшая пора близости — последние примерно пятнадцать лет.

В эти две поры близости (ранней и поздней) я испытал сильное воздействие его духовности. Тогда, быть может, это осознавал не так ясно, как теперь.

Оказывал ли я на него какое-либо влияние и когда именно — не знаю. Однако полагаю, что без моей помощи он не мог бы ознакомиться с современной музыкой и кое с чем другим.

Я отвожу себе роль возбудителя некоторых его художественных и интеллектуальных (гуманитарных) интересов. Он беседовал со мной и на эти и на иные темы и, вероятно, испытывал потребность в таком общении. Поэтому, думаю, смею утверждать: мы прожили долгую совместную жизнь.

Постараюсь немного рассказать об этой жизни; из-за несовершенства памяти, к сожалению, более о внешних ее чертах, чем о внутренней сути. Рассказ доведу до военных лет. О дальнейших десятилетиях должна была бы рассказать сестра, жизнь которой преисполнена заботой о нем.¹

Боюсь только, что, касаясь нашей совместной с ним жизни, не слишком ли много буду говорить о себе?..

* * *

Мы мало интересовались своими далекими предками, да и не только предками — дальними родственниками. Поэтому останется неизвестным, насколько разветвлено наше генеалогическое древо.

Отец из бедной семьи, мать из болес зажиточной. Оба родом из Вильно, у обоих тяжелое детство.

Фамилия отца редкая. Корень литовский: drusca — соль. (Ср.: Друскеники (Друскининкай), в Петербурге — Друскеникский переулок.) Вероятно, все, кто носят эту фамилию, находятся друг с другом и с нами в каком-то родстве. (Среди них, как некогда слышал, и адвокат в Петербурге, и некий врач в Ялте, снискавший там добрую славу, и музыковед из Ростова-на-Дону — он окончил, как экстерн, Ленинградскую консерваторию в том же году, что и мой брат, и был также наречен Яковом, из-за чего возникли мелкие недоразумения; однако степень их родства с нами мне неизвестна.)

Девичья фамилия матери — Гельфанд — очень распространенная. О ее ближайших родственниках (как и отцовских) скажу дальше. О дальних ничего не знаю.

Согласно семейному преданию, дедушка (по отцовской линии) работал сначала банщиком, потом содержал нечто вроде постоянного двора или меблированных комнат, но был неудачником — вечно прого-